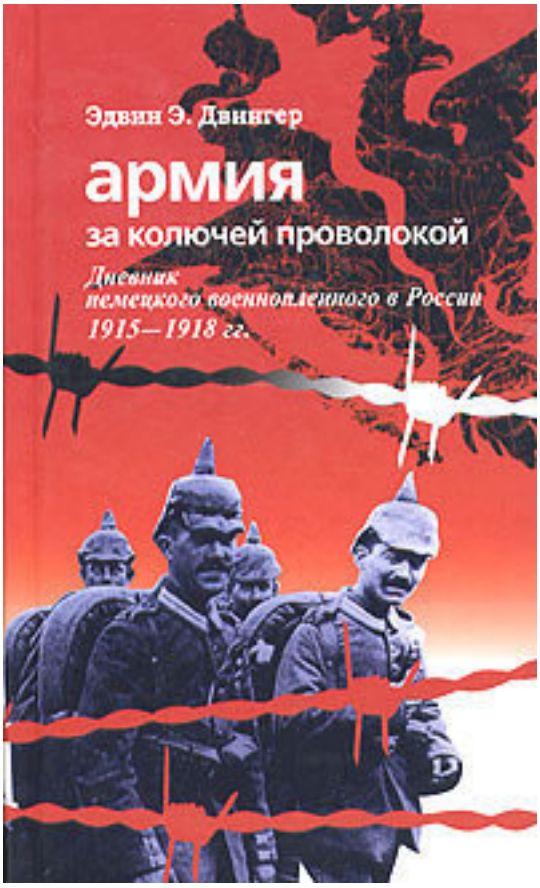
Эдвин Э. Двингер
армия
за колючей проволокой
Дневник немецкого военнопленного в России 1915—1918 гг.

Эдвин Двингер

Армия за колючей проволокой. Дневник немецкого военнопленного в России 1915-1918 гг.

«Центрполиграф»

Двингер Э. Э.

Армия за колючей проволокой. Дневник немецкого военнопленного в России 1915-1918 гг. / Э. Э. Двингер — «Центрполиграф»,

Автору этой книги, впоследствии известному немецкому писателю, было всего семнадцать, когда в разгар Первой мировой войны он попал в плен к русским. В сибирских лагерях юноша четыре года тайком вел дневник, который лег в основу этого произведения. Книга содержит записки 1915–1918 годов. В них не рассказывается ни о битвах, ни о героических деяниях, а повествуется о «задворках» войны, где бесславно, без сообщений в победных реляциях, гибли люди.

© Двингер Э. Э.
© Центрполиграф

Содержание

1915 год 6
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Эдвин Эрих Двингер
Армия за колючей проволокой. Дневник немецкого военнопленного в России 1915–1918 гг

Доктору Эльзе Брендштрём

Эта книга содержит записки 1915–1918 годов. В них не рассказывается ни о битвах, ни о героических деяниях, а повествуется о другой стороне – о «задворках» войны, на которых гибли без сообщений в победных реляциях.

1915 год

Я получил свои пули в тот самый момент, когда поднял саблю, чтобы подать взводу сигнал к атаке. Хотел прокричать: «К атаке – копья наперевес!» – но мне удалось выкрикнуть лишь: «К ата…» Мое подразделение брызнуло в разные стороны, как лужица воды, по которой хлопнули кулаком, кобыла Целле взвилась свечой, зашаталась и опрокинулась навзничь.

Я смутно почувствовал, что все кончено, однако, хотя это было очевидно, не позвал маму. «Господь мой, – мысленно воскликнул я, – за что ты покинул меня?!» Профессор Шварц, наш преподаватель закона Божьего, упорно внушал нам эти слова как «ослепительно высвечивающие человеколюбие Бога-Сына», потому не удивительно, что они в это мгновение вырвались у меня.

Впрочем, мне было семнадцать лет.

Очнулся я с ощущением, словно мне отпиливают обе ноги. Рот был забит перепаханной землей – упав, я от боли грыз землю пашни. Я попытался отыскать свою саблю и тут заметил, что меня обокрали: бинокль, часы, револьвер, нагрудная сумка – все пропало. «Пленен!» – молнией пронеслось в голове. Словно в меня снова попали пули, и на этот раз угодили прямо в мозг.

А может, мне еще удастся спастись? Ног не чувствую, спина одеревенела, не могу даже переменить положения. Икрам горячо, словно между ними насыпали углей. Расстегиваю клапан брюк, засовываю внутрь руку. Справа, с внутренней стороны, четыре пальца пролезают в дыру, слева, пониже, над коленом, пролезает только один палец.

«Значит, ты истечешь кровью…» Осознание этого не причиняет боли; я уже потерял слишком много крови, чтобы как следует воспринимать происходящее. «Может, это даже лучше, чем плен?» – приходит утешительная мысль. Я удивленно смотрю на голубое небо и поворачиваю голову, краем глаза заметив какое-то движение. Это всего лишь одно из наших копий, чей черно-белый флажок бьется, словно взывая о помощи.

Некоторое время спустя подходит отряд казаков. К стремени одного из всадников привязан мой унтер-офицер, его лицо мертвенно-бледно, он хромает и с трудом переводит дыхание. Подойдя шагов на пять, он замечает, что я жив, и указывает на меня. Двое казаков спешиваются и вразвалку подходят ко мне. Один из них рассматривает мой окровавленный живот, делает красноречивый жест: «Этот не жилец…»

Однако они не препятствуют Шмидту-второму стянуть с меня брюки, чтобы наложить повязку. Напряженно гляжу на левое бедро. Если кровь сейчас оттуда хлещет, то все кончено, а если только сочится…

– Лишь сочится, – говорит Шмидт-второй, словно зная, о чем я думаю. Слева и справа лежит пара убитых солдат из моего взвода, он переходит от одного к другому, переворачивает их на спину, снимает с них перевязочные пакетики, кряхтя, опускается рядом со мной на колени, заматывает, заматывает…

– Свинство, – бормочет он мрачно. – Все время проступает…

Наконец они застегивают на мне мундир, берут под руки и поднимают. Правой рукой я обхватываю за плечи Шмидта, левой – за шею одного из казаков; мои ноги болтаются, как у тряпичной куклы, набитые опилками, без пружин.

– Ну, пшел! – кричат казаки и, бренча оружием, вскакивают в седла.

У Виндавы, маленькой курляндской речки, которую мы пересекаем вброд, Шмидт-второй поит меня. Я выпиваю подряд шесть кружек, но они для меня словно пять капель. В поисках брода мы наталкиваемся на лежащего в воде драгуна – он накололся на собственное копье.

Это вольноопределяющийся Зюдекум – я узнаю его по очкам, проволочками закрепленным за уши.

– Глупый парень, – говорит Шмидт-второй, который тоже его узнал. – Он так плохо видел без очков, что оказался почти слепым, когда однажды потерял их. Ни разу не попал в мишень. Вот и получил…

По другую сторону Виндавы нас встречает новый отряд казаков. Среди них – пара наших коней, дюжина драгун из моего подразделения лежит между ними. Шнарренберг, мой вахмистр, смельчак, кавалер Железного креста, опирается спиной о мертвого жеребца. Зубы у него ощерены, ходят на скулах желваки.

– И вас, фенрих? – ворчит он разочарованно.

Подбельски, Шмидт-первый и Брюннингхаус приветствуют меня взглядами. Все молчат – каждый получил свое, у троих солдат первого взвода тяжелые раны от сабель и копий, у моих людей только огнестрельные.

– Черт побери! – наконец восклицает Брюннингхаус. – Во всяком случае, для нас война кончилась…

– Трус! – бормочет Шнарренберг. Желваки его задвигались сильнее, словно на зуб попалось что-то твердое, но он сдерживается.

Казаки веселы и добродушны, неожиданная победа делает их доброжелательными. Я понимаю их, несмотря на сибирский диалект, – моя мать была русской, и даже если нам никогда не позволялось говорить по-русски в присутствии отца… «Как хорошо, – думаю я, – что, когда отец был в море, я просил мать говорить на родном языке! И как умно с ее стороны, что она умерла до того, как разразилась эта война… Бог мой, что бы мне было делать? Она бы этого не пережила… А вот отец… Для него было само собой разумеющимся, что я пошел добровольцем в первых рядах. Он офицер».

Некоторое время спустя с грохотом подкатывают две санитарные повозки – телеги с решетчатыми боковинами и соломой. Мои люди, желая добра, укладывают меня первым, но казаки не хотят ждать и запихивают всю дюжину в обе повозки. Я получаю пятерых на свои простреленные ноги. Их тяжесть придавливает меня к перекладинам, лицо мое точно прижато к тюремной решетке. Совсем рядом крутится колесо, проходя всего в двух сантиметрах ото лба, рта и подбородка, – если решетка сломается, за один оборот с меня сдерет всю кожу до костей. С натугой отодвигаюсь, и это напряжение лишает меня последних сил.

К тому моменту, когда телеги останавливаются у дивизионного штаба, я настолько слаб, что у меня безвольно текут слезы. Рядом со мной лежит Шнарренберг, нас обоих, как самых нижних, оставляют, других кладут рядом в траву. Пару сдавленных жалобных стонов издает малыш Бланк. Шнарренберг бросает на меня быстрый взгляд.

– Черт возьми, фенрих! – сердито бормочет он, увидев мои слезы. – Покурите, помогает!

Он, обычно скуповатый, теперь сам сует мне в губы сигарету. Почему?.. У меня слегка кружится голова. После двух-трех затяжек глаза снова стали сухими.

Прискакали двое казаков, поперек их седел свешиваются окровавленные офицеры. Они болтаются, словно гуттаперчевые, лица их ужасающе обезображены. К нашей телеге подходит молодой забайкальский офицер. На нем сверкающие лакированные сапоги, синие галифе с желтыми лампасами, зеленого шелка рубашка.

Шнарренберг быстро и решительно отодвигает меня в сторону.

– Заявляю протест против обращения с нами после пленения! – сразу говорю я. – Нас ограбили до рубашек – это противно правилам ведения войны!

Шнарренберг бормочет что-то примирительное. Он не понимает по-русски, но доволен моим тоном.

Молодой офицер только улыбается.

– Не довольно ли того, что вам сохранили жизнь? – мягко спрашивает он. – Мы, казаки, не всегда столь великодушны! На вашем месте я в любом случае был бы доволен…

Чуть позже во двор с грохотом въезжает тройка. Между двумя русскими офицерами в высоких чинах я вижу офицера в германской драгунской форме – знакомое лицо с острыми чертами, на котором посверкивает стеклышко монокля.

– Ротмистр граф Хольмкинг – первый эскадрон! – произносит Шнарренберг таким тоном, словно рапортует по службе.

Тройка останавливается шагов за десять от нас. Хольмкинг с усилием вылезает, поддерживаемый слева и справа казачьими офицерами. Что это – на боку у него все еще висит сабля? Через три-четыре шага он останавливается, с трудом переводит дыхание, крутит головой – он выглядит так, словно давно уже мертвец. Один офицер спешит вперед и сразу же возвращается с пожилым генералом в окружении большой свиты.

– Внимание, фенрих! – взволнованно бормочет Шнарренберг.

Я немного приподнимаю голову и слышу чей-то доклад:

– Полковник Беляев просит ваше превосходительство оставить этому офицеру саблю ввиду его храбрости!

Хольмкинг не говорит и не понимает по-русски. Обессиленно он вынимает из ножен саблю, дрожащими руками протягивает, держа на весу. Старый генерал торжественно его приветствует, почтительно кланяется рыцарским жестом и возвращает саблю. Хольмкинг замирает, принимает ее правой рукой, левую прижимает к груди и внезапно падает ничком как подкошенный.

– Разве война не прекрасна? – восторженно спрашивает Шнарренберг. – Черт меня побери – это было нечто! Пусть говорят что хотят, но это было нечто…

Вечером нас переносят в пустую комнату в дивизионном штабе. Около сотни тяжелораненых лежат на соломе вдоль стен, один подле другого. Большинство стонут, некоторые хрипят, один молоденький юнкер не переставая кричит: «Хильдегард, Хильдегард!»

– У вас есть морфий? – спрашиваю я, когда мимо проходит фельдшер.

– Морфий? Ничего…

Посередине стоит широкий стол. На него кладут раненых одного за другим. Второй фельдшер работает с засученными рукавами, казак светит ему чадящей керосиновой лампой. По беленным известкой стенам мечутся их тени, и нож фельдшера кажется огромным и длинным, как казачья шашка. Почти каждый, кто попадает на этот окровавленный стол, вскоре начинает кричать.

Над высокими деревьями стоит бледная луна. За окнами мелькают тени казаков в высоких меховых шапках, проносящихся галопом; они скачут, привстав в стременах. Барабанный цокот копыт выдает их уже издалека и на время заглушает наши стоны. Совсем далеко прокатываются залпы орудий, где-то неподалеку горит дом.

Я настолько ослабел, что не могу поднять голову. С наступлением темноты у меня начинается горячка. Все – фельдшер, казак, всадники за окном, остальные раненые – кажутся мне тенями. В них что-то таинственное и призрачное, и, даже если я еще не знаю, что означает «Россия», в эти первые, спокойные часы я предчувствую, что с момента своего пленения попал в новый, чуждый, непостижимый мир.

Я ощущаю удушающий страх, но испытываю его не один. Он тенью лежит на всех лицах, звучит во всех стонах, он исходит не из наших ран, нашего скверного и безнадежного положения, – от чуждого запаха казаков исходит он, воздуха этого помещения, звуков их речи, от каждого их спокойного, неуклюжего движения. С тех пор как меня внесли в это помещение, даже Шнарренберг не произносит ни слова. «Нас сотрет в порошок эта страна!» – думает каждый из нас.

В полночь в дверь входит деревенская девушка. Свет керосиновой лампы падает на ее лицо – это единственная фигура, которую я вижу не как силуэт. В руках у нее глиняная кружка и кусок белого хлеба. Сделав несколько шагов, она останавливается, передергивает плечами, словно озябла, оглядывается в поисках помощи.

– Иди, Маша! – говорит фельдшер. – Больше никто из них ничего тебе не сделает. Они все жрут с рук…

Она двинулась вдоль рядов сапог лежащих, время от времени останавливается, затем нерешительно идет дальше. У нее только одна кружка молока, только один кусок хлеба, и она хочет отдать их тому, кто в этом больше всего нуждается. Пара поднятых рук, пара возгласов «Здесь!», искромсанный юнкер кричит прерывающимся голосом: «Хильдегард, Хильдегард!» Казак на мгновение поднимает лампу над головой, чтобы она смогла лучше рассмотреть. Девушка отступает к двери, так и не приняв решения, заново начинает свой обход.

Во второй раз проходя мимо моих ног, девушка останавливается. Я поднимаю голову, насколько мне это удается, поскольку жажда мучает меня нестерпимо. Развеяло ли ее последние сомнения мое детское лицо? Она слегка отодвигает соседа в сторону, ступает между нами, присаживается возле меня, подсовывает правую руку мне под спину, левой подносит кружку ко рту.

Я жадно пью, а глаза мои при этом не отрываются от девушки. Она блондинка лет восемнадцати, у нее круглое детское лицо и материнский рот. Когда кружка с молоком почти опустела, она берет хлеб, размачивает его и кусочек за кусочком впихивает мне в рот. Казак еще раз поднимает лампу, и на ее лицо падают неровные отсветы, я вижу, как по обеим щекам текут слезы.

Медленно, почти нежно, она кладет меня на солому. Я хватаюсь за ее руки, как ребенок хватается за мать. Моя лихорадка прошла? Или это горячка? «Кругом люди!» – думаю я. Что-то доброе, нежное обволакивает меня, новая сила вливается в тело. Я увижу ее даже в свой смертный час…

Чуть позже в наше помещение с шумом входит офицер. Он приносит приказ, фельдшер сразу прекращает работу – в его лапах мясника был как раз малыш Бланк. Шесть-семь солдат выносят нас, без носилок, взяв за руки и за ноги. Уже с час раны мои болят невыносимо.

На улице они складывают нас на лужке. Трава высокая, мокрая от росы, небо над нами бесконечно спокойно.

– Они увозят нас! – ворчит Шнарренберг. – Боятся, эти свиньи, что утром товарищи освободят нас, останься мы здесь!

Я не верю этому. Брюннингхаус тоже не верит.

– Они просто освобождают место! – говорит он. – Для следующих…

Через час подъезжает одна повозка, тридцать, сорок, голова каждой лошади привязана к хвосту идущей впереди. Нас не церемонясь бросают в повозки на солому, но кладут не вместе – с каждым немцем кладут русского.

– Чтобы мы не смогли сбежать! – слышу я ироничные слова Брюннингхауса.

Крохотные повозки больше двух человек не вмещают. С моей стороны лежит русский офицер. Он без сознания. Это мне на пользу.

Вереница повозок медленно выползает за деревню. Нас сопровождает отряд казаков. Некоторое время дорога идет ровным, чистым полем, затем мы сворачиваем в густой лес. Мне кажется, будто я еду между двух отвесных черных стен, доходящих до небес. Иногда они сдвигаются еще ближе, и это действует гнетуще.

На дороге полно выбоин. Временами меня кидает на моего соседа, затем его перекатывает на меня. Несмотря на это, мне все же хорошо. В повозке передо мной русский кричит не умолкая – словно внутри него сидит издыхающий пес. Время от времени казаки объезжают

наш поезд. Они уже не такие добродушные и доброжелательные. Возможно, Шнарренберг не так уж и не прав, полагая, что мы где-то победили… Каждый раз, выезжая вперед, они злобно целятся в немцев копьями. Не попадают случайно или не желают попасть? От бортов моей телеги, совсем рядом с моим туловищем, после их ударов уже дважды отлетали щепки.

Посередине леса офицер становится беспокойным, сдавленно стонет, мечется. Я поворачиваю голову, смотрю на него. Это крупный, бородатый, сильный мужчина, правая половина его головы забинтована, так же как и грудь. «Ох… – стонет он, – ох…» Я немного отодвигаюсь в сторону, чтобы не придавливать его. Левая половина его лица выглядит так, словно он плачет.

Внезапно он приподнимается, хватается за повязку на голове. Я пытаюсь схватить его за руки, чтобы помешать ему. Между нами завязывается тяжелая борьба. Ему удается схватить меня за горло, и, пока я освобождаюсь от его удушающей хватки, он одним движением срывает повязку. Его щека разорвана от виска до челюсти – я вижу его челюсть, оскаленные зубы белеют в сумерках.

В тот же миг он начинает бушевать. Его крики ужасны, поскольку кажется, что звуки несутся не изо рта, а из зияющей дыры в щеке. Он колотит руками вокруг себя, почти выпихнув меня наружу через боковую слегу, так что мне приходится судорожно цепляться, чтобы не выпасть. Однако постепенно он начинает хрипеть, дыхание становится свистящим. Я перевожу дух при мысли: «Сейчас он умрет!» Повозка продолжает катиться. Перед нами монотонно перебирает крупом наша лошадь. Над нами загораются белым неподвижные звезды.

При следующем толчке русский мешком наваливается на меня, его изувеченное лицо, мокрое и холодное, прижимается к моим губам. Я отчетливо ощущаю привкус чужой крови и резко отталкиваю его. Такое впечатление, будто волосы поднялись у меня на голове, а глаза вылезли из орбит. Напрасно я перевертываюсь, стараясь разглядеть его, чтобы удостовериться. «Он уже мертв, – думаю я, – что тебе еще нужно? Это не лучше, чем если бы он продолжал драться?»

Лучше не стало. Я принужден все время натыкаться взглядом на его лицо, невероятно серое, освещенное луной лицо, его щеку с частью огромной, по грудь, бороды. Когда я на него смотрю, мне не так страшно, чем когда в темноте мне чудится, будто я его вижу. Тело его еще теплое – чувствую это, когда он при толчках повозки головой ударяется о мое лицо.

«Боже всемилостивый… Господь наш… благословенно имя Твое… Ты покарал нас… все в руцех Твоих…» Я принимаюсь молиться и слышу голоса. Они раздаются звучно, будто звонят большие колокола. Уж не схожу ли я с ума?..

Нет, с ума я не схожу. Вот если бы утро не наступило так скоро… Забрезживший свет поглотил голоса-колокола и лишил мертвеца подле меня сверхъестественного. Светлым утром мы останавливаемся в городке Ауце, на ярмарочной площади.

Дюжина крестьянок с кружками и стаканами идут от телеги к телеге. Подходя к моей телеге, они закрывают лицо ладонями.

– Что там? – кричит казак, быстро подходит. – Ты его убил, проклятый колбасник?

– Нет… нет…

Одна из крестьянок наполняет стакан красным соком, подносит его к моему рту.

– Еще и поить эту падаль! – кричит казак, выбивая стакан у нее из рук.

Собирается небольшая толпа, подбегают шесть – восемь казаков.

– Сюда! – кричит первый. – Напоим-ка эту собаку!

Рядом с моей телегой журчит фонтан. Под его струей они набирают полный рот воды, с раздувшимися щеками становятся возле меня, ухмыляясь, склоняются к моему лицу и одним махом обливают меня. У одного из них разорванные ноздри, у другого сифилитический нарыв на верхней губе.

Десять – двенадцать раз бегают они к источнику, десять – двенадцать возвращаются с полными ртами воды. Я весь мокрый, с моей телеги звонкие ручьи текут на землю. Две крестьянки начинают плакать. «Скорее бы умереть! – думаю я. – Или суждено вытерпеть еще большие унижения?..»

Наконец приходят два санитара, кладут умершего русского на носилки, относят его к куче мертвых тел, снятых с других телег.

– Вперед, вперед! – раздается команда офицера.

Казаки вскакивают на лошадей. Одна крестьянка отирает мне лицо фартуком, молодая девушка кладет на грудь пару огурцов и кусок черного хлеба.

Лошади трогают с места, путь продолжается. Мокрая солома сбивается в тонкий слой, который нисколько не смягчает толчков. Мундир пропитался слизью и кровью. Обе мои раны, кажется, проникли в плоть еще глубже. Я продрог до костей.

После полудня мы прибываем в Митаву. Снова нас переносят в пустое помещение, пол которого застлан соломой. Двое санитаров вносят большой котел с горячими щами, дают каждому по жестяной миске и деревянной ложке. Живительно пахнет капустой и мясным бульоном, и все оживляются. Подбельски опустошает миску раньше, чем санитар успевает ее наполнить.

– Чертов голод! – говорит он горько. – Тут было воробью, а не мне…

Во время еды приходят двое носильщиков, забирают одного за другим на носилках. В светлой комнате меня кладут на операционный стол. Вокруг стоит сильный запах йода и крепкого русского одеколона. Молодой врач орудует окровавленными инструментами, миловидная медсестра милосердия берется за мои брюки.

– Давай снимай! – говорит она со своеобразной интонацией чистокровной русской.

Мое лицо заливает краска. Я непроизвольно кладу обе ладони между ног.

– Сокровище, – говорит она и слегка улыбается, – ты видел когда-нибудь, чтобы кто-то из солдат стеснялся?

Молодой врач, смеясь, оборачивается и смотрит на меня.

– Да какой он солдат, совсем мальчишка! – Он становится подле меня и добавляет по-немецки: – Что, в Германии уже вынуждены отправлять в полки детей?

– Я доброволец! – твердо произношу я.

Он хмурит брови и склоняется над моей повязкой.

– Отчего все мокрое? – спрашивает коротко.

– Ваши казаки облили меня! – громко говорю я.

– Просто дьяволы наши солдаты, Ники! – возмущенно говорит сестра, кладет ладони на мой лоб, чтобы удержать меня, если я попытаюсь вырываться.

Но меня не нужно удерживать. Мои повязки так промокли, что запекшиеся корки размякли.

– Ступай, солдатик! – говорит сестра милосердия, когда все кончено. – Надень этот лазаретный халат, пока я высушу форму!

– Да, сделай, Сонюшка! – говорит врач, и они обмениваются взглядами.

«Да она точно его возлюбленная!» – возбужденно думаю я.

Ободренная его взглядом, сестра обтирает все мое туловище. Под конец заворачивает меня в красный лазаретный халат, сует в рот сигарету.

– Ну что, жизнь налаживается, верно, солдатик? – спрашивает она по-матерински.

Вечером нас грузят в санитарный поезд. Трехъярусные койки одна над другой, белые простыни, шерстяные верблюжьи одеяла, подушки. Все чистое. Старшая сестра расхаживает

взад-вперед, санитар приносит фляжки и складные стульчики. В последний момент из перевязочной прибегает сестра и приносит мне одежду.

– Благодарю вас и прошу передать поклон вашему другу! – бойко говорю я по-русски.

Она тихо вскрикивает.

– Вы говорите по-русски?

– Да, немного…

Она сконфуженно хихикает, быстро убегает прочь.

Поезд начинает двигаться. Я безмолвно гляжу наружу, растягиваюсь на белых простынях и готов любить каждого, с кем я мог бы быть хорош. В ногах у меня лежит моя форма, кое-как отчищенная и высушенная. Неужели не выветрился запах крепкого русского одеколона?

Передо мной лежит Брюннингхаус, стройный человек с гладким лицом парикмахера, лихими закрученными усами и гибкими пальцами. Он с удовлетворением глядит на одеяло, заложив руки за голову.

– Черт побери, – восхищенно говорит он, – в таких условиях я готов подождать наступления мира! Складной стул сюда, руски-камрад…

Дальше через две койки лежит мой вахмистр.

– Ну, фенрих, – говорит он, – теперь терпимо! Как у вас прошла ночная поездка?

– О, – улыбаюсь в ответ, – терпимо.

– Мне повезло меньше, – говорит он. – Парень рядом со мной принялся буянить, хвататься за меня, звать свою «мамочку»! Пришлось дать ему несколько раз по морде, пока он не обнаружил ошибку и не оставил меня в покое.

В Ригу мы въезжаем в ночь. Полчаса нас везут затемненными улицами. Во дворе многооконного дома, обнесенного решеткой, под открытым небом нас снимают. Сотнями лежим на наших носилках, ни один человек не заботится о нас.

– Организация, ну и организация! – ворчит Шнарренберг.

Прохладно, пала роса, я отчетливо слышу, как стучат зубы моего соседа. Если бы у меня не было сухой одежды… В отдалении грохочут раскаты грома. Фронт далеко, должно быть, это залпы корабельных орудий.

– Скажите, фенрих, – спрашивает Шнарренберг, – ваш отец – морской офицер?

– Да, – отвечаю я.

– Не знаете, где он сейчас?

– В последнем письме – поистине в последнем письме что-то было о нападении флота на Ригу…

– Черт побери, так, значит, это они! – Он возбужден, начинает прислушиваться к каждому выстрелу. – Вот увидите: через трое суток Рига падет, всего трое суток – и мы свободны!

Я не отвечаю. Может, он и прав, однако… Нет, я не хочу в это верить, было бы слишком горько, если… Несмотря на это, начинаю прислушиваться к каждому залпу. Впервые с момента моего пленения мысли мои улетают к отцу. «Если бы он знал! – думаю я с волнением. – Если бы знал…»

Наконец несколькими лестничными пролетами нас поднимают наверх, в отделение, вход в которое забран тюремной решеткой. Перед крохотной дверцей стоят двое часовых, вооруженные ружьями с примкнутыми штыками. Временами казалось, что мы просто раненые солдаты, а теперь стало ясно, что в первую очередь – военнопленные.

Я случайно получаю постель. Она еще теплая, а одеяло окровавлено. Шнарренберга и Шмидта-второго на их носилках кладут в проходе между койками, слева и справа от меня. У меня в ногах опускают изрешеченного юнкера. Он все еще жив, но кричит уже совсем хрипло. Он настолько ослаб, что уже не может кричать «Хильдегард», у него не хватает дыхания, чтобы

произнести подряд три слога. Слышно, как он хрипит лишь «Хиль… Хиль…». Каждый его вздох заключает только эти звуки.

Глубокой ночью умирает Шмидт-второй. Он лежит рядом со мной, я вижу все стадии его умирания. Он получил всего лишь легкое ранение, самое легкое из всех нас. Но у него начался столбняк – нам не сделали прививки. Уже три-четыре часа, как он окостенел, живут еще только глаза, не отрываясь смотрят на меня. «У него была лишь царапина, слегка зацепило – и вот он должен умереть! – думаю я. – А если бы он не проходил мимо того места?..» Страшное отчаяние охватывает меня. Все – случай? Все – Бог?

Наконец глаза его останавливаются в одной точке, медленно гаснут, обволакиваются молочной пеленой. Почти в ту же минуту у меня в ногах вытягивается юнкер.

– Дайте мне его бумажник! – говорю я хрипло. – Напишу ей…

Когда мне его передают, из него выпадает фотография молоденькой темноволосой девушки. На оборотной стороне читаю: «Я каждый день молюсь за тебя. Бог милостив».

Бог милостив?.. Нет, уж лучше я засну, не желаю об этом думать! Но это не сон, наступающий мгновениями, это скорее провал в бездонную пропасть, полубессознательное состояние перед изнеможением. Внезапно вижу, как все двери открываются. «Внимание!» – кричит чей-то голос. Широкоплечий морской офицер быстро и пружинисто входит в зал. За ним на коротком расстоянии следует свита. Он переходит от койки к койке, внезапно протягивает обе руки.

– Ну, мой дорогой мальчик?..

Я вскрикиваю. Передо мной никого нет, не звучит знакомый голос. Лишь умирающие и мертвецы лежат вокруг меня. Ничто из моих лихорадочных видений не реально, кроме дрожания оконных стекол от далеких раскатов корабельных залпов. Но так ли это? Может, мне просто очень хочется их слышать?..

Я снова проваливаюсь в забытье. И вновь отворяются двери. И снова…

Все повторяется до рассвета, пока не спадает температура. Шесть – восемь раз я подскакиваю. «Ну, мой дорогой мальчик?..»

Почти наступило утро, когда в нашу палату вваливается толпа санитаров. «Давай-давай, пошел!» – возбужденно кричат они. Едва до нас доходит, в чем дело, как нас снова выносят за зарешеченные ворота. Не остается ни единого, в ком теплится хоть капля жизни.

Из дверей я бросаю последний взгляд в палату. Шмидта-второго и юнкера скатили с носилок, чтобы на них можно было положить других. Оба лежат перед моей койкой, с искаженными от боли лицами, вытянувшись, словно на дыбе.

– Весь лазарет очистили! – шепчет пехотинец с простреленной щекой. – Должно быть, безопасна только одна железнодорожная линия, остальные уже под огнем наших кораблей!

Желваки Шнарренберга ходят. Его бульдожье лицо с выдающимися скулами, закрученными кверху густыми усами и глубокими морщинами на низком лбу от возбуждения позеленело.

– Разве я не говорил, фенрих? Разве не говорил? О, эти свиньи – в самый последний момент…

Я безразличен. У меня уже нет сил ни радоваться, ни страдать. Желаю лишь покоя, наконец, покоя – на недели, месяцы, годы. Я хорошо представляю себе, как бы это могло быть, но… Конечно же он взял бы меня с собой в Киль… В прекрасной каюте с портретом моей матери…

За окошками нашего санитарного поезда проплывают широкие равнинные пейзажи. Временами мы еще слышим раскатистый гром залпов, временами колеса с грохотом пробегают по стрелкам – каждый толчок и залп словно иголки впиваются в наши раны, каждый поворот все дальше увозит нас от наших надежд. Мысль, что в последний момент можно было бы освободиться, в тот же час как бы во второй раз попасть в плен, мучительной двойственностью

охватывает всех нас. Даже Брюннингхаус, неунывающий, умеющий приспособиться к любой ситуации, сегодня молчалив. Подбельски обрел бы душевное равновесие при наличии хорошей еды, но и об этом забыли в результате внезапного отхода. А мой вахмистр? На его худощавое лицо бросилась желчь. Он весь пожелтел.

В Москву мы также попадаем ночью. Снова нас на несколько часов оставляют лежать на перроне, в конце концов переносят в специально оборудованный трамвай, который, дребезжа и громыхая, отправляется в путь по скупо освещенному городу. Снова нам нужно за высокие зарешеченные ворота, у которых стоят двое вооруженных часовых, нас опускают на пол в широком коридоре здания, которое выглядит как казарма. В боковых проходах друг на друга сложено сорок – пятьдесят мертвецов. Все время подносят новые трупы, со всех этажей. Нужны койки, свободные койки…

Одного за другим нас поднимают, относят в душную помывочную. Прямо в бинтах суют в тепловатую, едко пахнущую воду, тремя быстрыми взмахами каждому шлепают по пригоршне серой мази под мышки, на лобковые волосы. Неуклюжий, как медведь, санитар прямо на мокрое тело натягивает больничное белье и на руках относит в большой зал, в котором тускло горит керосиновая лампа.

– Это называется водолечение доктора Кнейпа, господа! – слышу я Брюннингхауса.

Снова моя постель теплая, испачканная гноем. Влажное белье прилипает к телу, обе повязки сочатся, соломенный тюфяк промокает. На моей койке нет одеяла, лишь одна грязная простыня. Зубы у меня стучат, раны горят. Комки запекшегося гноя на подушке настолько противны, что в желудке начинаются спазмы. Но я не могу поднять голову, не могу свеситься с койки. Блюю прямо перед собой, на собственную грудь, на шею. Но это хотя бы забивает запах гноя, это не чужое. Это что-то свое. И это хорошо.

Когда наступает день, я вижу, что слева от меня лежит Шнарренберг, а справа – незнакомый человек с окладистой бородой. Должно быть, у него ранение в грудь, потому что он часто кашляет, и после этого у него на губах появляются небольшие розовые пузыри. Напротив коридора лежат Брюннингхаус и Подбельски, из всего окружения они выглядят лучше всех. Других, Шмидта-первого, малыша Бланка и Бара не видно.

– Доброе утро, господа! – кричит Брюннингхаус. – Черт возьми, вот это было путешествие. Теперь-то, надеюсь, мы, наконец, получим заслуженный отдых? В общем-то шикарный этаж… – добавляет он и крутит головой во все стороны.

– Только бы не держали впроголодь! – ворчит Подбельски, непобедимый богатырь с глазами сенбернара, плечами как шкаф, кулаками молотобойца и бородой, ниспадающей на грудь, словно клубки коричневой шерсти. В окопах его коротко звали Под.

Я разглядываю одного за другим. Я так слаб и изнурен, что не могу говорить, способен лишь глазами показать, как я рад, что хотя бы они рядом.

– Как дела, юнкер? – сразу спрашивает Брюннингхаус.

Я с трудом улыбаюсь.

– Если бы я мог хотя бы ползать! – говорит Под. – Я ходил бы за нашим малышом! Ха, эти санитары… – восклицает он низким голосом.

Приходят санитары, а среди них разные типы, одни добрые и хорошие, другие злые и грубые. Под стаскивает одеяло, показывает на меня:

– Мне жарко, отнеси ему, товарищ!

– Нет, Под! Ну что это такое! – тихо протестую я.

– Помалкивай, юнкер!

В 8 часов приходят сестры милосердия. Это утонченные создания с ухоженными ручками – персонажи из сказок. Под их белоснежными халатами видны восхитительные ботиночки с

высоким подъемом и шелковые чулочки различных расцветок. Мой ряд берет на себя крупная брюнетка – дойдя до моей койки, она останавливается и спрашивает:

– Сколько лет?

– Семнадцать, – отвечаю я тихо, чтобы никто не услышал. И ощущаю, когда она склоняется над моей головой, чтобы поставить белый крест на моей доске, с чудесно-радостным чувством запах туалетной воды для волос и дорогого мыла.

Около полудня приходят санитары с носилками. По двое относят в перевязочную – короткое время спустя раздается пронзительный крик. До сих пор я полагал, что все люди при сильной боли издают одинаковые звуки, – теперь знаю, что люди каждой национальности кричат по-своему, и уже с первого утра отличаю немцев от австрийцев, венгров от турок. Впрочем, я заметил, что грубые, быкообразные люди орут громче всего, а изнеженные, субтильные – тише, они более стойкие к боли.

Меня вместе со Шнарренбергом относят в перевязочную.

– Мы ведь не будем орать, а, фенрих? – бормочет он в последний момент. – Покажем этим свиньям…

Когда меня кладут на белый стол, все сестры обступают меня.

– Смотрите, доктор, совсем мальчик! – говорит грациозная блондинка.

Доктор потрясенно смотрит на меня. У него большие серые глаза. Его левый глаз неподвижно уставился на меня, словно он стеклянный.

– Сколько лет? – спрашивает он.

– Восемнадцать! – упрямо отвечаю я и поворачиваю голову к Шнарренбергу.

Я делаю это отчасти от гнева, а также чтобы почерпнуть у него сил, а отчасти, однако, и оттого, что моя рубашка задрана до плеч, штаны спущены до колен. Если бы я мог пользоваться руками, прикрылся бы, но руки справа и слева прикручены ремнями. У Шнарренберга почти такое же ранение, что и у меня – раздроблены бедренные кости. Лицо его во время снятия бинтов становится неузнаваемым, но он не кричит.

Вот и мои бинты сматывают. На коже я ощущаю что-то холодное, слышу звяканье инструментов.

– Тщательнее, доктор! – говорит изящная сестра.

Я неотрывно гляжу на Шнарренберга. Нет, я не желаю уступать! Если он в состоянии… Прохладные девичьи ладони ложатся мне на лоб, крепко прижимают мою голову к столу. Я чувствую запах йода, и в бедрах начинается жжение.

В горле у меня булькает, и ожесточенное лицо Шнарренберга все быстрее и быстрее проваливается в черную, бездонную пучину.

Во время перевязки наши постели перестелили, поменяли одеяла и утки. Когда я пришел в себя, все вокруг меня уже тихо и спокойно. Июньское солнце ярко светит в окна, сестра-брюнетка медленно ходит взад-вперед.

– Что, юнкер, пустили вам по нервам ток высокого напряжения? – спрашивает Брюнн. – Предохранители не сгорели?

На гражданке он был электриком и любит пересыпать речь профессиональными словечками.

Я смущенно улыбаюсь.

– Вам нужно кричать, юнкер, – неодобрительно продолжает он. – Кричать – полезно, все остальное – глупость! Ради чего? Нет, необходимо орать, тогда хотя бы чувствуешь боль наполовину… Чего ради еще и здесь геройствовать? То, что нас еще не вздернули, уже само по себе подвиг!

– Трусливая банда… – бормочет Шнарренберг, но его никто не слышит.

Я переворачиваюсь на бок и вижу на моей тумбочке четыре куска сахара. После обеда дали кружку чаю с сахаром, – но почему на других тумбочках лежит всего лишь по два кусочка? Я подзываю сестру, показываю на мой сахар, спрашиваю:

– Почему у меня четыре? – Я говорю по-немецки, им не следует знать, что я владею их языком, – возможно, удастся что-нибудь выведать, если она не будет об этом догадываться.

Она, улыбаясь, показывает на Пода.

– Нет, Под, так не пойдет! – кричу я ему.

Под только ухмыляется.

– Война – это тебе не игрушки! – говорит он добродушно.

После чая я засыпаю, а когда снова просыпаюсь, вижу, как Под и Брюнн сидят поперек койки и в окно наблюдают за улицей. Позднее я узнаю, что из их окна видна Москва-река и что там каждый день после обеда купаются без одежды мужчины и женщины.

– Глянь, – говорит Брюнн. – Вон та ничего, а? И спереди пышка, и сзади пышка – совсем как моя старуха!

– Хочешь нас распалить? – восклицает кто-то из соседей.

Внезапно Под оборачивается, замечает, что я смотрю на них, и говорит:

– Милое дело, юнкер! Потерпите пару деньков, тогда я перенесу вас к нам… Каждый раз после полудня часок бесплатного кино – очень пользительно!

Я почти не могу есть. Заставляю себя, потому что знаю, что без этого не встану на ноги, однако не очень-то помогает. Однажды я был слишком слаб, чтобы поднять ложку, в остальном же пища вызывает у меня неодолимое, мучительное отвращение. Меня утешает только то, что я могу отдавать ее Поду, вечно голодному – в качестве маленькой компенсации.

– Вы с ума сошли?! – восклицает он, когда я впервые отправляю ему еду.

– Почему? – спрашиваю я беспомощно.

– Вам нужно есть самому! Черт побери, вы что думаете, ваши ходули выздоровеют сами?

– Заткнись, Под! – восклицаю я в ответ.

Шнарренберг не разговаривает ни с кем, кроме меня. По нему явно видно, что он ропщет на судьбу. Но меня он почти мучает.

– Если бы только знать, как там, на фронте! – твердит он по тридцать раз на дню.

Конечно, хотелось бы знать. В известном смысле он прав. Но мы ничего не знаем. Только один санитар, тупая скотина, как-то бросил: «Берлин капут!» Но мы в это не верим.

День проходит за днем. Под уже может ковылять, но делает это только тогда, когда в зале нет дежурного, ибо, как только кто-нибудь начинает двигаться, это означает одно: отправку в Сибирь. Мы договорились как можно дольше оставаться вместе.

Человек справа от меня становится все бледнее. Несмотря на это, целыми днями твердит, что скоро выздоровеет. Однажды он мне рассказал, что был коммивояжером в хорошей отрасли, в Пёснеке, в Тюрингии, у него жена и дети, девятилетняя дочка по имени Анна и восьмилетний сын Франц. В школе учатся замечательно…

Жизнь в этом лазарете – между прочим, одном из лучших в Москве, так называемый пересыльный лазарет, как мы узнали, – была бы сносной, если бы не ежедневные перевязки. Но по утрам, когда появляются санитары с носилками, разговоры словно обрезает. Они смолкают еще до того, как пронзительный рев, возникающий короткое время спустя и без перерыва раздающийся до полудня, не позволяет разобрать ни единого слова в зале.

Моя правая рана уже пару дней гноится, и повязка, несмотря на то что в руку толщиной, к утру становится желто-зеленой и промокает. Но и это было бы терпимо, если бы не открывалась раневая горячка. Кривые на моей температурной доске напоминают росчерк молнии, которые ежедневно из глубины выстреливают вверх. Каждое утро я просыпаюсь с ясной головой, радостно думаю: «Слава богу, вот и все позади, вот я и справился!» Но как только насту-

пает полдень, у меня странно тяжелеет голова, и часом спустя кровати моих соседей начинают кружить.

Я переношусь на поле боя, стреляю и колю вокруг себя, меня пронзают копьями, рубят саблями. Каждую ночь я вновь попадаю в плен, заново умираю. С неминуемой неизбежностью меня снова кладут рядом с умирающим офицером, обрызгивают сифилитическими ртами. И когда я потом пугаюсь от безумного калейдоскопа лиц и думаю: вот ночь и кончилась – я слышу где-нибудь бой колоколов, означающий, что едва ли прошло полчаса.

Я переживаю все это заново с такой ужасающей правдоподобностью и убедительностью, что по утрам часто в тихих глазах Пода вижу, что снова вызываю ужас. В конце концов моя температурная доска получает новый зигзаг, – почти каждый вечер его кривая поднимается до сорока, – и если так еще некоторое время продолжится, то мое сердце остановится навсегда.

Несмотря на это, по ночам у меня время от времени бывают и ясные моменты. Нет, это не было лихорадочным бредом, когда я на короткий миг почувствовал, что на мою кровать присела женщина, нежно поцеловала меня в пылающий лоб – губы ее были столь холодны, словно приложили кусок льда, – и тихо сказала: «Спать, спать!» Нет, это был не бред, Брюнн сказал мне, что сестра всегда приходила, когда у нее было ночное дежурство, на некоторое время подсаживалась к моей койке и делала то, что я чувствовал. Это та изящная блондинка, которую я знаю по перевязочной.

Разве не чудо, что я вызываю уважение у нее? Не я один, мы все любили этих сестер, оттого что они такие нежные и опрятные, однако во время их работы мы не могли с ними общаться, потому что не понимали их. Всегда, когда они брались за нас, поднимали или перестилали постель и тем самым хотели сделать нам добро, они причиняли нам боль. Несмотря на это, мы часто зовем их и миримся с маленькой болью, чтобы ощутить прикосновение нежных, чистых рук, ощутить аромат духов и крема.

Да, в нас царит тайная любовь к ним, но это идеальная или платоническая любовь, ибо она расцветает фантастическими цветами в эпоху разлук, но опускается до болезненного желания высвобождения во времена умиротворения, контактов.

В первое утро третьей недели Шнарренберг бранится особенно озлобленно. Что с ним? Его силы на исходе? Нас снова кладут друг подле друга на пыточных станках, намертво пристегивают за конечности, словно жертвенных агнцев. Как всегда, я поворачиваю голову в сторону его грубоватого лица, пытаясь найти поддержку в его энергии. Но сегодня он решительно избегает меня, широко раскрытыми глазами глядит в потолок.

Одна из сестер возится с дырчатыми красными трубочками – ни он, ни я до этого дня их еще не испробовали. Врач берет одну, коротко взглядывает на нее, быстрым движением вводит в рану. В то же мгновение конечности Шнарренберга напрягаются, он дважды делает шумный вдох, пронзительно вскрикивает.

Что-то во мне обрывается.

– Спокойно, спокойно… – говорит изящная сестра.

Нет, нет! Я вижу красную трубку в ее руках, такую же трубку… Как только меня касается врач, я реву как зверь.

С этого утра Шнарренберг не говорит нам ни слова. Четыре дня подряд я вижу только его широкую спину, шишковатый бычий затылок, – если бы он не был таким от природы, я решил бы, что он пунцовый от стыда. Нет других причин для его упорного молчания – он стыдится. Нет, иногда действительно ничем не помочь бедному парню…

Он молчал бы неделями, если бы не произошло нечто, моментально выведшее его из состояния ожесточенности и недовольства самим собой. Почти сразу все подметили, что странным образом переменилась и сестра. Она по-прежнему добросовестно выполняет свою работу,

однако стала держаться заметно суше и холоднее с нами. Пока мы ломали над этим голову, по грубому, несдержанному обращению санитаров стало ясно: что-то произошло на фронте, видимо, недавно они потерпели ощутимое поражение.

Это смутное предположение подтвердилось, когда как-то после полудня малыш Бланк, который уже мог ходить на костылях, снова появился у нас. Это был субтильный парнишка, по профессии приказчик, с девичьими глазами, узкими, покатыми плечами и слабой, впалой грудью.

– Я лежу в соседнем зале, но не мог раньше зайти, – говорит он и вытаскивает из кармана клочок бумаги, украдкой засовывает его мне под одеяло. – Это кусок русской газеты, я нашел его в уборной. Может, там есть что-нибудь о фронте? – добавляет он.

Я почти дрожу, когда, прикрытый широкой спиной Пода, подношу клочок к глазам. Нам чертовски везет, это часть сообщения с фронта, которое я еще могу разобрать: «Укрепрайон Брест-Литовск по стратегическим соображениям оставлен. Наши новые позиции располагаются…»

– Ага, свинтусы! Теперь мы знаем, почему… – говорит Брюнн.

– По стратегическим соображениям! – хохочет Под.

Малыш Бланк сразу ковыляет от нас, чтобы сообщить новость в своей палате.

– Сейчас вернусь! – весело говорит он.

Шнарренберг тотчас рывком поворачивается.

– Боже мой, – с облегчением произносит он, – наконец-то дела снова наладились. Теперь через месяц наступит мир!

Все говорят наперебой. Радостная искорка надежды скачет с койки на койку. Среди нас поднимается тихое жужжание, будто в зал влетел рой пчел.

– Я как раз выздоровею к нашему возвращению домой… – говорит человек с ранением в грудь и сам себе улыбается.

Из сестер милосердия только изящная блондинка из перевязочной остается прежней, все остальные свою заботливость прикрывают панцирем колкой язвительности. Некоторые санитары издеваются над нашими ранами, по малейшему поводу плюются в нас. Врачу со стеклянным глазом нельзя предъявить претензий, и все мы любим его за это.

С санитарами дело обстоит все хуже и хуже. Никого уже больше не кладут на носилки без того, чтобы он не вскрикнул от боли.

– Это вам за Брест-Литовск, гунны! – слышу я при этом слова одного из них.

Когда однажды утром они забирают меня, Под раньше них садится на мою койку. И когда они собираются почти сбросить меня на носилки, моментально оказывается между ними.

– Эх, умылись бы вы у меня кровью, чертовы золотари! – кричит он и поднимает руку, словно кузнечный молот. Один из санитаров бледнеет, другой собирается броситься на него – но один лишь взгляд в бешеные глаза Пода, на его фигуру Геркулеса моментально останавливает его.

В одну из суббот затевается большая уборка. Мы предположили, что с осмотром прибудет какой-нибудь генерал, но с шумом ввалилась стайка дам. Старшая сестра лазарета, одна серая перепелка, две престарелые девы, по виду гувернантки, две молоденькие девушки.

– А теперь позвольте вашим высочествам показать нашего самого молоденького гунна! – слышу я голосок перепелки.

Кровь бросилась мне в голову. Они подошли к моей койке и разглядывали меня широко раскрытыми глазами. «Как в обезьяннике!» – озлобленно думаю я, сжимаю зубы и напускаю высокомерное выражение на лицо. Но тем не менее замечаю, что обе девушки сказочно краси-

вые, как на картинке, существа, с изящными носиками, огромными сияющими глазами, нежными овальными ротиками.

– Это было что-то неземное, если только старик Брюнн не сошел с ума, – бормочет Брюннингхаус, словно охотничья собака принюхиваясь им вслед.

Когда я спросил одного из санитаров, он ответил, что это были две царские дочери, великие княжны Ольга и Татьяна.

После полудня от Москвы-реки загрохотала военная музыка: звенящая медь, раскаты литавр. Под оглядывается, но никого уже нет в палате, все убежали в коридор, чтобы поглазеть на шествие. Он на ощупь пробирается к моей койке, откидывает одеяло.

– Забирайся на мою руку, юнкер, есть на что посмотреть!

Я сажусь на его левую руку – ребенок на груди медведя. Он осторожно переносит меня на свою койку, опускает у окна, подкладывает под спину подушку и, усевшись рядом со мной, обнимает сильной рукой за плечи.

Напротив окна небольшая церковь, настоящий русский дом Божий с 15 луковичными куполами – все выкрашены в небесно-голубой цвет и усеяны золотыми звездами. На улице появляется вновь сформированный полк, во главе его развевается ряд знамен, новые, богатые, красивые знамена. Длиннобородые попы идут слева и справа от них, со знаменами исчезают в храме. Начинается пение, выплывает из церкви сурово и торжественно, затем следует продолжительная тишина.

– Сейчас они освящают знамена! – говорю я тихо.

– Вот оно что… – усмехается Брюнн.

Спустя некоторое время приходит малыш Бланк, садится по другую сторону от меня.

Снова гремят трубы, барабанщики глухо бьют в барабаны. Знамена появляются из дверей в сопровождении чинных попов. Все, ликуя, бросают вверх шапки, многие благоговейно крестятся. Полк строится, под громкую музыку вытягивается вниз по улице, к вокзалу, на фронт.

– Если бы не было военной музыки, то войн оказалось бы вполовину меньше! – неожиданно говорит Брюнн.

– Да, Брюнн… – говорит Бланк задумчиво. – А эти попы, – продолжает он, – они же представители Бога, верно? Как наши священники? Но как же сейчас? Все под одним, под единым Богом, верно? А теперь каждый просит против другого… «Даруй нашим знаменам победу!» – говорит поп. «Нет, даруй ее нам!» – говорит наш пастор…

– Тяжелый случай! – считает Брюнн. – Может, Господь Бог вечером, как пошабашит, тянет со святым Петром жребий?

– Не мели чепухи! – взрывается Бланк, однако сразу после этого беспомощно оглядывается: – Нет, послушайте, фенрих: все священники мира служат прославлению Его, верно? Но это же и означает, что служат любви, добру, состраданию, защищают от боли и насилия? Но как же тогда возможно, что… – Он осекся, не в состоянии продолжать. – Ах, плевать на все! – вдруг говорит он и уходит.

Моя рана на бедре день ото дня гноится все сильнее, а температура не падает. Я настолько слаб, что товарищи вынуждены меня кормить, – я уже не в состоянии поднести полную ложку ко рту. Каждое утро плаваю в луже зелено-коричневого гноя, меня обдает из-под одеяла вонью, которая ужаснее тления.

Возможно, в мою рану попал какой-нибудь яд? Возможно, это вызвано тогдашним обливанием? В любом случае моя кровь ожесточенно борется с чуждой, смертельной силой, каждое мгновение миллионы лейкоцитов воюют с теми разрушительными процессами, которые день за днем увеличивают мою рану, превращая ее края в белесую и мертвую массу размером в две ладони.

С того утра, как прибыл в этот лазарет, я уже не думал всерьез о смерти – своей смерти. Теперь, каждый день слабея, смутно и тоскливо предчувствую, что так мне долго не протянуть.

И если не произойдет решительной перемены, однажды мой организм сложит оружие, будет не в состоянии преодолевать не только вечернюю температуру, но и бороться с воспалительным очагом в моем теле.

«Неужели теперь все? – в сотый раз спрашиваю я себя. – Неужели в конце концов все страдания окажутся тщетны?..»

Однажды после полудня, когда Под поит меня с ложечки чаем, в наш зал входят два незнакомых санитара с носилками. У них в руках записка, и они в поисках ходят по рядам. Я так вздрагиваю, что полная ложка перед моими губами проливается на постель.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.